

Без кисти и карандаша.

1.



Столешники всегда с необычайной приветливостью распахивали свои двери перед каждым, в душе и сердце которого сверкали, горели или даже только теплились искры настоящего, искреннего вдохновения, гостеприимно встречали каждого, кто жил и дышал воздухом искусства.

Глубокие дружеские отношения связывали Столешники с миром художников. Во многом это определялось натурой Гиляровского, стихийно жившей в нем увлеченностью людьми яркими, даровитыми, его большим природным вкусом. Москва, ставшая сразу для дяди Гиляя родной и близкой, не только создала условия для развития его дарования, не только дала ему массу впечатлений, но и столкнула с одаренными, талантливыми людьми. Среди них были художник, воспитанник Училища живописи, ваяния и зодчества Николай Павлович Чехов, друг молодежи, преподаватель училища Владимир Егорович Маковский, братья Сорокины, даровитая молодежь, работавшая тогда в московских иллюстрированных еженедельниках.

И молодежь, и маститые художники быстро подружились обаянию Столешников и начали тянуться к ним как к месту, где можно почерпнуть для себя что-то новое, поговорить об искусстве, встретиться с интересными людьми.

Гиляровский умел разглядеть в человеке его даровитость, почувствовать будущий талант.

— Восхищаться блестящими талантами Ильи Ефимовича (Репина), Василия Ивановича (Сурикова) и Виктора Михайловича (Васнецова), — говорил не раз Гиляровский, — не так уж трудно. Гораздо сложнее на ученической выставке в первых, еще малоопытной рукой написанных этюдах увидеть будущий талант живописца. Угадать, почувствовать, уловить здоровый пульс, предвещающий расцвет нового дарования, — это очень нужно и в то же время несравненно более трудно, чем восторгаться теми, кто уже прочно определил свое место в искусстве, или дружески похлопывать их по плечу.

Вероятно, оттого Гиляровский был неизменным и внимательнейшим посетителем ученических выставок. Он бывал на них по многу раз. Посещал их еще до открытия, обязательно писал о них в газетах, старался помочь молодым художникам развернуть свое дарование. Оттого так тянулось к Гиляровскому молодое, только начинающее свой тернистый путь художественное поколение Москвы. Оттого всегда так охотно бывала в Столешниках молодежь, которой дядя Гиляй отдавал свои заботы и внимание.

Много добра сделал Гиляровский для таких художников, как заслуженный деятель искусств Николай Иванович Струнников, учившийся у И. Е. Репина, и народный художник Александр Михайлович Герасимов, ученик А. Е. Архипова и К. А. Коровина. А. М. Герасимов посвятил теплые строки памяти своего друга в автобиографической книге «Жизнь художника».

И Струнников и Герасимов с большим чувством благодарной признательности вспоминали Гиляровского. Сколько радостных творческих часов и дней провели они в гостеприимных Столешниках и в не менее гостеприимной «Гиляевке» (Малеевка) под Рузой, дачном уголке Владимира Алексеевича, где он любил спокойно работать, бродить по лесам, собирая грибы или любясь золотым убором берез и кленов.

Хорошо помню их в Столешниках, где постоянно дневали и ночевали молодые воспитанники Училища живописи, собиравшего со всех концов России даровитую, талантливую молодежь. Они приходили сюда



В столовой у Гиляровских. Этюд А. П. Бельха.

как в родной дом, приносили на строгий, нелюбимый суд — одни робко, другие с заносчивостью и излишней самоуверенностью молодости — свои первые творческие опыты. Молодежь знала темпераментность хозяина Столешников, не умевшего и не желавшего лукавить. Она внимательно выслушивала одобрения и похвалу Гиляровского или резкий разнос за отход от правды жизни, за искажение действительности, за неискренность, холодную выдумку. Тем, кто

оправдывал погрешности и объяснял их своим особым «видением», Гиляровский убежденно говорил:

— Мало ли что тебе причудится в потемках! Мало ли что ты сможешь увидеть в постоянно запертой на замок, темной, заваленной хламом и старьем комнате, где давно уже никто не живет.

Ты художник! Живи в шумном потоке текущей жизни, в говорливой, кипящей энергией толпе деятельных, творящих людей. Без усталости броди и жадно наблюдай, вдыхай в себя радости и очарования жизни, просторы полей, величавые гулы лесов, безбрежную синеву неба и темень грозных облаков, зеленую мураву весны и пушистые серебристые зимние дали с колеями вечно зовущих вперед дорог.

Справедливое негодование и возмущение Гиляровского вызывали некоторые опыты и дерзания молодежи, сбиваемой с толку умозрительными увлечениями зарубежных «новаторов», выдумывавших «новые пути» в искусстве, не имевших никакой связи с жизнью.

— Ты действительно видишь человека с тремя головами? — возмущенно спрашивал Гиляровский художника, показавшего ему этюд, написанный так, как он увидал на репродукции только что полученного заграничного художественного журнала.

— Почему у тебя человек похож на скрипку? — спрашивал он другого, ощупывая мускулатуру его рук, а иногда похлопывая его по спине или шее.

— Отчего у тебя вместо Василия Блаженного и обычных московских домов какие-то разноцветные кубики и конусы? — говорил Гиляровский художнику, показавшему этюд Красной площади. — Иногда ты можешь на улице увидеть слона, особенно, если идешь ночью с пирушки, а конусы вместо домов, даже в сильном подпитии, вряд ли на московских улицах увидеть можно.

— Зачем писать бумажные цветы, когда можно поставить перед собой букет крымских роз или степные цветы? Никакая цветная бумага и рукоделие самых опытных мастеров не смогут заменить краски природы, — убежденно утверждал неистовый жизнелюбец из Столешников.

— Колористические сочетания! — иронически по-



Ветлы. Рисунок И. И. Левитана.

вторял он слова автора, принесшего на суд свой натюрморт из искусственных цветов. — Разве можно сравнивать цветовую гармонию живых цветов с бумажными? Невозможно! И не надо! — горячо утверждал Гиляровский.

Несмотря на непримиримость в оценке Гиляровским некоторых увлечений молодежи, она не переставала идти в Столешники, охотно показывала свои опыты, рассказывала об исканиях и внимательно выслушивала замечания дяди Гиляя — убежденного поборника реалистического искусства.

— Очаровывает и покоряет Владимира Алексеевича только искренность в искусстве, только страстная увлеченность им, — говорил о нем один из художников.

Среди завсегдатаев Столешников наиболее колоритной фигурой и по силе дарования, и по творческой напряженности был Константин Алексеевич Коровин. Он весь как бы был озарен ярким солнечным светом, веселым, ароматным, освежающим ветром. Красивый, с очаровательной улыбкой и стремительными движениями, Коровин был всегда хорошо, со вкусом одет.

Манера обращения, внешность, костюм, только что сшитый известным московским портным, или привезенный из Парижа, или приобретенный в модном магазине «Жака» на углу Петровки и Столешникова переулка, рыжеватая меховая куртка — все это производило неотразимое впечатление.

Коровин, наряду с такими крупными живописцами, как В. А. Серов, С. Ю. Жуковский, А. Е. Архипов, С. А. Виноградов, А. М. Васнецов, С. В. Малютин, А. С. Степанов, П. И. Петровичев и другие, входил в Союз русских художников. Многие из этих художников во главе с Коровиным были частыми гостями Столешников. Здесь бывали также М. Х. Аладжалов, В. П. Бычков, Н. А. Клодт, Л. В. Туржанский и другие.

Вечера, которые проходили в столовой или в кабинете, всегда были наполнены горячими разговорами, шутками, экспромтами, страстными спорами. Особенно оживленно бывало перед рождеством или пасхой, когда в Москве открывались очередные выставки Союза русских художников, «Мира искусства», передвижников, учеников Училища живописи, ваяния и зодчества, а позднее различных объединений художников.

Не будет, пожалуй, преувеличением сказать, что центром таких вечеров был Константин Алексеевич Коровин, ярчайший представитель передового русского искусства, подлинный мастер, самозабвенно влюбленный в свое дело, тонкий пейзажист и театральный художник с большой выдумкой. Коровин имел самостоятельную мастерскую в московском Училище живописи, ваяния и зодчества и был беззаветно почитаем своими учениками. Всеобщий любимец, душа каждого собрания, близкий друг Ф. И. Шаляпина и многих знаменитейших современников, Коровин неизменно вносил радость в дружеские встречи.

Радость, любовь к жизни, восторженное отношение к ее красоте отличали натуру Коровина и пронизывали его творчество. С удивительной непосредственностью это ощущалось всеми, с кем встречался художник, умевший передать свою любовь к искусству. За эти качества натуры Коровина его особенно нежно любил Гиляровский.

К. А. Коровин быстро схватывал, глубоко воспри-



К. А. Коровин.

нимал и остро переживал отдельные поразившие его явления, подолгу жил ими и кроме них ни о чем другом не мог говорить. Хорошая или, наоборот, не удовлетворившая его картина, которую он только что увидел на выставке или в мастерской, какое-либо событие в жизни художников, в Училище живописи или

в театре, рыбная ловля — вот основные темы его живых, порой страстных разговоров. Коровин говорил горячо, непосредственно, подкрепляя свою мысль характерными интонациями, движениями рук, особым огоньком в глазах.

Константин Коровин был не только талантливым живописцем, могущим в мгновение ока написать полыхающий яркими цветовыми сочетаниями пейзаж или букет благоухающих роз, но и блестящим декоратором, который умел выразить в декорациях особенности музыки П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

Коровин был кумиром художественной молодежи, не устававшей восторгаться блеском и силой коровинского мазка.

Талант Коровина подчинял себе все окружающее — и в аудиториях Училища живописи, и на вернисажах Союза русских художников, и в зрительном зале Большого театра, и в курилке Малого, где у него было множество друзей среди ветеранов «щепкинского дома».

Радость, только радость должно нести людям искусство — вот было главное убеждение Коровина.

Дружественное соприкосновение таких незаурядных людей, как Коровин и Шаляпин, с находчивым, остроумным, наблюдательным, много видевшем в жизни Гиляровским всегда оставляло незабываемое впечатление. Часами можно было слушать, впитывать все, о чем как бы мимоходом, но всегда необычайно остро, проникновенно говорили эти люди. Даваемые ими характеристики происходивших в художественном мире явлений и событий, оценки произведений живописи, театра, литературы всегда были новы, свежи, интересны и западали в память.

Художественная Москва тех лет блистала именами многих славных, даровитых мастеров, обогативших русское искусство великолепнейшими произведениями. Тем не менее в среде друзей-художников Коровин не то чтобы затмевал других, но благодаря особенностям своей талантливой натуры как-то выделялся. Это получалось естественно, само собой, никого не удивляло и не встречало никаких возражений. Вероятнее всего, это была общепризнанная власть

таланта, да еще такого, как коровинский, — ярко переливающегося, очаровывающего своей искрометностью, остроумием и блеском. Он не мог не подчинить себе, не покорять.

Наиболее близки были Столешникам по внутреннему содержанию своего дарования А. Е. Архипов, А. М. Васнецов, С. А. Виноградов, С. В. Малютин и С. В. Иванов. Некоторые из них бывали в Столешниках чаще, другие реже, но все они отличались богатством таланта, колоритностью, темпераментностью своих натур.

Абрам Ефимович Архипов, малоразговорчивый, как бы стеснительный, но зоркий рязанец, издавна был связан с Гиляровским общей привязанностью к Волге и Оке. Архипов с детства видел красоту своей родной рязанской земли. Гиляровский изъездил вдоль и поперек рязанские уголья.

Оба они блестяще знали Рязанщину, искренне и безраздельно восхищались типическими чертами и особенностями рязанцев, их бытовым своеобразием и часто об этом говорили.

Гиляровский ценил картины Архипова за исключительное умение художника жизненно и правдиво передавать характер простых людей. Его пленяла яркость одежд, в которые любил рядить художник своих героев, особенно рязанских баб, манера видеть, особый, архиповский стиль.

— Вы так пишете солнышко, Абрам Ефимович, что яркие его лучи на ваших картинах в руки взять хочется, — говорил дядя Гиляй, разбирая архиповские произведения.

— Такие, значит, они живые, как ваш Степан Разин, — отвечал ему деликатнейший, застенчивый Архипов. — Я хоть этого человека не видал и в моей Рязанщине он не был, но по вашим стихам я его как живого представляю, — добавлял Архипов.

— Окский воздух вы умеете так передавать, что им не надышишься, Абрам Ефимович. Ваш «Обратный» так написан, будто вы всю жизнь только и занимались, что колесили по рязанским полям и вместе с возницей услаждали свой слух пением жаворонков да писком сурков.

— Любил я, Владимир Алексеевич, пение жаво-

ронков; любил прислушиваться, как степь, особенно по вечерам, разговаривает, — прищулив глаза и глотая горячий чай, говорил Архипов. — Это такие концерты, что не всегда в консерватории услышишь. Звезда со звездой по ночам в наших землях разговаривает.

Обычно вместе с Архиповым заходил в Столешники Сергей Арсентьевич Виноградов. Хотя не особенно давно он приехал с юга, но твердо обосновался в Москве, как-то быстро акклиматизировался, стал своим человеком в художественных объединениях «Мир искусства» и Союз русских художников. Часто заходил с ними Аполлинарий Михайлович Васнецов. Москва чтит его и как брата всемирно известного Виктора Михайловича Васнецова, и как даровитого живописца, многие полотна которого были посвящены старой Москве.

— Мы, Владимир Алексеевич, вернее, наш Союз русских художников — законные наследники передвижников, — говорили они. — Мы из их среды пришли, мы их ученики.

Васнецов и Виноградов — талантливые, одаренные, стремившиеся внести в любимое ими искусство освежающую, животворящую силу красочного, колористического обновления, приходили в Столешники поговорить, посоветоваться. Они говорили Гиляровскому о том, что московские газеты должны заострять внимание на новых задачах реалистического искусства в области цвета, света и воздуха. Частенько, сидя в кабинете Гиляровского, они подробно обсуждали планы в защиту того, что для них являлось наиболее дорогим в искусстве. Такие газетные «кампании», организацию которых брал на себя Гиляровский, были очень нужны, так как стали явственно наблюдаться настроения против Союза русских художников.

Иногда в этих беседах принимал участие Сергей Сергеевич Голоушев, врач по профессии, служивший при одном из полицейских участков Москвы. Известность в Москве Голоушев приобрел не как врач (об этой его профессии многие даже не догадывались), а своими выступлениями в московских газетах по вопросам искусства, театра и живописи, которые он подписывал псевдонимом «Сергей Глаголь».

После привлечения к политическому «процессу

193-х» и участия в демонстрации по делу Веры Засулич Голоушев уехал за границу, где хорошо изучил искусство. Вернувшись через несколько лет на родину, он с увлечением ушел в жизнь искусства, участвовал, как пейзажист, на выставках, тесно общался с художниками и систематически помещал статьи о них в газетах и журналах. Голоушев хорошо знал многих художников, что позволяло ему писать интересные статьи об их творчестве.

Сближению Голоушева со Столешниками много способствовало его сильнейшее увлечение творчеством И. И. Левитана. Голоушев иногда часами разговаривал с Владимиром Алексеевичем и Марьей Ивановной о Левитане, записывал воспоминания о его жизни, о поездках на Волгу. Несколько раз при таких беседах присутствовала С. В. Кувшинникова.

Гиляровский постоянно посещал вечера у С. В. Кувшинниковой, хорошо знал период жизни И. И. Левитана на Волге, высоко ценил этюды, написанные им на берегах великой русской реки.

— Этюд — самая затаенная, самая дорогая часть души художника, — говорил Гиляровский. — В него надо особенно внимательно и чутко вглядываться.

С такой оценкой значения этюда был полностью согласен и Голоушев. На своих уроках по технике графики в Строгановском училище Голоушев постоянно отмечал важность работы над этюдом.

Так же как в Училище живописи, Гиляровский был своим человеком и в Строгановке. С руководителями этих художественных учреждений — С. А. Львовым и Н. В. Глобой — дядя Гиляй был в дружеских отношениях, полностью разделял их приверженность реализму.

В беседах об искусстве часто принимал участие талантливый и тонкий художник-лирик Н. В. Мещерин, человек большой поэтической настроенности. Его присутствие всегда придавало разговору особую страстность и эмоциональность.

Ревностным поборником основ реалистического искусства был сын Саввы Ивановича Мамонтова — Сергей Саввич. С. С. Мамонтов был связан тесными личными отношениями с М. А. Врубелем, В. А. Серовым, И. С. Остроуховым, М. В. Нестеровым, сам был

не чужд искусству — занимался немного майоликой и выставлял ее на выставках Союза русских художников. Не без содействия Гиляровского С. С. Мамонтов заведовал некоторое время отделом искусства в «Русском слове». В своих рецензиях о выставках он решительно отстаивал позиции реалистического искусства, смело отражал наскоки «новаторов», стремившихся установить новые основы живописных исканий.

Ни С. В. Малютин, ни С. В. Иванов, ни тем более тишайший Н. В. Мещерин не были бойцами, пропагандистами своих взглядов. Они лишь настойчиво и уверенно делали то, что считали нужным и необходимым в искусстве.

Малютин, кипучий, иногда даже нетерпимый к своим собратьям, с большим выбором делал портреты виднейших представителей московской литературы, передовой общественности. Гиляровский немало помогал ему в этом, поскольку знал всю Москву и его слова, обращенные к тому, кто мог бы быть моделью для художника, имели немаловажное значение.

С Ивановым у Гиляровского отношения были гораздо насыщеннее, поскольку их сближали общие интересы к происходившим в Москве событиям 1905 года. Иванов и дядя Гиляй неоднократно ходили на митинги в университет. Иногда Гиляровский наблюдал, как художник делал наброски увиденного на улицах. Наброски эти лежали на столе в рабочем кабинете Гиляровского. Вместе они провели ночь в аудиториях на Моховой, когда университет был блокирован отрядами казаков; бывали на революционных выступлениях и демонстрациях в фабричных районах города. В результате таких неоднократных совместных посещений «горячих», как их называл Иванов, мест Москвы в его альбомах появились яркие наброски, а у Гиляровского — множество заметок в блокнотах и записных книжках.

Иванов внешне производил впечатление скрытного, нелюдимого человека и никогда не проявлял особого желания к излиянию своих чувств и настроений. В Столешниках он тоже держался подчеркнуто сдержанно, внимательно выслушивал рассказы Гиляровского и сообщения очевидцев.

— Если бы я столько видел, сколько вы, Владимир

Алексеевич, я бы, наверное, больше написал, — сказал как-то Иванов.

— Зато вы, Сергей Васильевич, так шестнадцатый и семнадцатый век видите, как, дай бог, нам видеть сегодняшний день, — заметил Гиляровский.

— Иногда я, правда, старину на ощупь чувствую. Не знаю сам, откуда это берется.

— Откуда берется, не знаю, Сергей Васильевич, а от картин ваших оторваться трудно, — ответил Гиляровский.

— Марья Ивановна, — сказал однажды Иванов, обращаясь к жене Гиляровского, — какую штуку выкинул Гиляй в университете! Мы с ним пробрались сначала в богословскую аудиторию университета, потом заглянули на первый юридический факультет. Везде, конечно, шумно, галдеж, возбужденные лица, неразбериха и толкотня.

Гиляй ходил по аудиториям, по коридорам, разговаривал со студентами, потом дернул меня за рукав и говорит: «Сергей Васильевич, давайте на минутку съездим по одному делу». Вы ведь лучше меня знаете, что спросить Владимира Алексеевича: «Куда ехать?» — это не только вызвать у него бурное негодование, но и сорвать то, что он задумал. При таких словах, как «куда», Владимир Алексеевич часто решительно отказывался куда бы то ни было двигаться.

Я дипломатически спросил:

«Надолго ли?»

«На минутку, — ответил он. — Совсем близехонько! А съездить нам надо».

«Поедем», — сказал я.

«На своих на двоих, — добавил Владимир Алексеевич. — Ведь извозчики объезжают теперь Моховую и Манеж, поскольку здесь казачьи отряды».

Выбрались мы двором, через калитку в Долгоруковский переулочек. Идем... Вышли на Тверскую. Пошли вверх к Страстному. Доходим до филипповской булочной. Гиляй молчит, молчу и я. Входим в булочную, свернули куда-то за прилавок. Владимир Алексеевич спрашивает кого-то: «Дмитрий Иванович у себя?» Слышу ответ: «У себя, пожалуйста». Входим. За столом сидит хозяин пекарного дела не только Москвы, но, пожалуй, и частицы России, поскольку

филипповские баранки даже в Сибирь вагонами отправлялись. Поздоровались. Гиляй понюхал табачку, угостил из табакерки Дмитрия Ивановича и говорит:

«Знаешь, что студенты второй день в университете сидят и их казаки сторожат?»

«Слышал. Ребята говорили».

«А ты знаешь, что им есть надо?»

«Конечно, Владимир Алексеевич, надо, как нам всем».

«А где взять? К тебе, что ли, сюда бегать или же по соседним булочным по мелочам собирать?»

«По мелочам дело сложное. Много не соберешь. Да и хлопотное это дело, Владимир Алексеевич».

«То-то и оно-то, Дмитрий Иванович!»

«Что же надо, Владимир Алексеевич?»

«Надо немного: чтобы ты распорядился послать в университет несколько корзин с калачами. Корзин, конечно, не одноручных, а двуручных. Помочь надо молодежи. За нас ведь работает. Какая молодежь — горячая, готовая ко всему и на все! Вот Сергей Васильевич, — обратился он ко мне, — надеюсь, подтвердит, мы с ним только что оттуда, из университета».

Дмитрий Иванович немного помешкал и сказал сидящему невдалеке от нас служащему:

«Василий, слышал разговор? Распорядись сейчас же послать несколько корзин калачей».

«Только обязательно тепленьких», — добавил Владимир Алексеевич.

«Мы вчерашними не торгуем, Владимир Алексеевич, а тем более по личному приказу Дмитрия Ивановича», — сказал филипповский служащий.

Через час, обходя аудитории, я наблюдал, как молодежь с аппетитом уплетала филипповские румяные калачи, не зная, кому она этим обязана.

— Тема для рассказа «Как буржуй революционеров своими калачами вдоволь накормил», — ответил Гиляровский на рассказ Иванова.

— Другая, Марья Ивановна, тема, — сказал Иванов, — рассказ «Как добрый человек быстро сообразил, что молодежь есть хочет и что надо позаботиться и накормить ее».

Часто Гиляровский встречался с художниками у В. Е. Шмаровина. По средам в большой комнате шма-

ровинского, особняка на Молчановке на большом столе появлялись краски, преимущественно акварель и гуашь, листы бристольского картона. Приходившие художники писали на нем бытовые сценки, пейзажи, натюрморты, которые разыгрывались в конце вечера в лотерее.

Часов около одиннадцати вечера со стола убирались все рисовальные принадлежности, расставлялись тарелки с нехитрыми закусками, приборы, и художники вместе с подъехавшими после спектакля актерами иногда до раннего утра попивали из стоявшего на столе бочонка пиво, пели свой гимн «Не дурно пущено» и песенку «Комарище», перекидывались шутками и острыми словечками. Неизменным зачинщиком веселья бывал дядя Гиляй.

В Столешниках художники вели себя несколько иначе, чем на «средах», — не рисовали и не пели. В большинстве случаев, сидя за чайным столом, они беседовали, перебрасывались замечаниями, обсуждали злободневные темы.

Несколько обособленное место в этом содружестве живописцев занимали двое — Вячеслав Павлович Бычков и Константин Федорович Юон. Бычков — невысокого роста, очень подвижный, живой — остро реагировал на все явления художественной жизни. Со времени организации Союза русских художников Бычков был его секретарем и фактически организатором всех выставок объединения. Он собирал картины для выставок, заведовал их продажей, вел бухгалтерию и переписку с членами организации. Все это не мешало ему быть очень деятельным художником. Он писал картины, посвященные жизни приволжских пристаней, и каждое лето жил на Волге. Написанные им бытовые сценки передавали разнообразные впечатления и наблюдения и в первые же дни выставок приобретались любителями этого красочного жанра. Гиляровский был большой охотник до таких жанровых сцен, и между ним и Бычковым существовали обоюдные симпатии.

Реже других бывал в Столешниках К. Ф. Юон. Объяснялось это в какой-то степени тем, что Юон, по рождению и вкусам коренной москвич, был тесно связан со многими молодыми художниками-петер-

буржцами, объединяемыми дягилевским кружком «Мир искусства» и, по исконной традиции, состоявшими в оппозиции к Москве.

Однако Юона притягивала к Столешникам органическая увлеченность тех, кто бывал здесь, Москвой, московским бытом. К этому тяготел и сам художник, отдавший много творческого внимания поэтическому воспеванию древней русской столицы.

И Юон и Гиляровский страстно любили московские площади и улицы, восхищались цветистостью колоколенок и церквушек Замоскворечья, живо и непосредственно чувствовали поэтичность Торговых рядов, с пристрастием подлинных художников всматривались в нарядную шумливість вербных базаров, вслушивались в пасхальные благовесты московских «сорока сороков» и скрип извозчичьих санок, разрезавших полозьями снег на улицах. Оба как бы обогащали друг друга остротой московских впечатлений, и их, как Александра Блока, влекли «огни и мгла» родного города. Оба великолепно знали художественный мир Москвы, и их дружеские беседы всегда бывали большим наслаждением для слушателей.

Гиляровский хорошо знал не только Подмоскowie, но и многие старые русские города, которые с увлеченностью писал Юон. Художник с благодарностью черпал у Гиляровского сведения о них, когда собирался, как он говорил, в «провинциальную глушь».

Всегда с подчеркнутым вниманием встречал Гиляровский Илью Ефимовича Репина, который, бывая в Москве, почитал своим долгом навестить «старого казачину», как он называл Владимира Алексеича.

Встречи, сблизившие Репина с Гиляровским, ушли в сравнительно далекие времена, когда писатель начал бывать в Петербурге на передвижных выставках, где через известного литератора Д. И. Эварницкого, много писавшего по истории Запорожской сечи, познакомился с художником.

Встречи в Москве, посещение Л. Н. Толстого в Хамовниках, особая приверженность дяди Гиляя к Волге, воспоминания о периоде его волжского бурлачества и крючничества, общение с Репиным в среде театральных деятелей — все это создало предпосылки для их внутреннего сближения. Гиляровский восторгался

репинским даром и ценил в нем еще многие другие качества, которые были ему близки и дороги, как человеку и журналисту.

Не отрывая глаз можно было любоваться, как небольшой, хрупкий по виду Репин, быстрый, даже топорпливый в своих движениях и жестах, вскочив со стула, ходил по столовой в Столешниках, что-то страстно отстаивал и защищал или с такой же страстью порицал, громил, отрицал.

Вероятно, против воли и осознанного желания Репин умел покорять и подчинять себе слушателей своим удивительным темпераментом, какой-то особой убедительностью, внутренней правдивостью. Этот художник постоянно видел перед собой очередной «карфаген», который он по пылкости и страстности своей натуры считал нужным разрушить до основания, чтобы расчистить поле для новой постройки, нового созидания.

Особенно были интересны высказывания Репина о только что увиденном художественном произведении. Это был фейерверк острых сравнений и наблюдений, глубокое проникновение в замысел автора. Такие своеобразные «рецензии», как называл их Гиляровский, были высказываниями не только гениального художника, но и человека своего времени, умевшего видеть и воспринимать явления искусства с позиций современности.

Наиболее памятным был вечер в Столешниках после диспута в Большой аудитории Политехнического музея. Незадолго до этого какой-то маньяк изрезал в нескольких местах перочинным ножом голову обезумевшего царя в картине «Иван Грозный и сын его Иван». Репин как раз приехал в Москву для реставрации попорченной картины и пришел на диспут, где публика устроила ему овацию. После диспута Репин зашел в Столешники. Было около одиннадцати часов. На столе в столовой кипел только что принесенный самовар. Собравшиеся, несколько взволнованные нервной приподнятостью и встревоженностью художника, настороженно-вопросительно молчали. Пришедший вместе с Репиным художник-реставратор М. М. Богословский, помогавший ему заделывать порезы холста в картине, предупредил:

— Только не разговаривайте с Ильей Ефимовичем о докладе Волошина¹. Его сильно задела некоторые положения докладчика. Он до сих пор не может прийти в себя: полвека отдать родному искусству и в результате услышать, что труд его напрасен и никому не нужен.

Кто-то из присутствовавших на диспуте попытался возразить, что Волошин отнюдь не утверждал этого.

— Я не утверждаю, — возразил Богословский, — что Волошин это именно так и говорил, но тон его высказываний был не вполне уважительным по отношению к художнику. Да еще в такой момент, когда явно ненормальный человек ножом искромсал великое произведение.

— Бурные аплодисменты значительной части слушателей, переполнивших аудиторию Политехнического музея, явно подчеркнули глубочайшее уважение к вдохновенному труду большого художника, — заметил кто-то.

В этот момент Репин вместе с хозяином вошел в столовую из кабинета и сел за стол.

— Маня, — обратился Гиляровский к жене, — Илья Ефимович только что убеждал меня, что жизнь — поток впечатлений, непрерывно нами поглощаемых, поглощаемых вдумчиво, наблюдательно, с ясным разумением и оценкой того, что происходит.

— Да, Марья Ивановна, именно поток — бурный, стремительный, разнообразный, со сменой людей, событий, — подтвердил Репин. — Многим покажется смешным, что я не расстаюсь с карандашом и альбомом и постоянно делаю наброски. Конечно, только для себя. Это у меня вошло в привычку с молодых лет, со времен моего общения с Антокольским, Крамским и многими другими, с кем прошли академические годы.

Владимир Васильевич Стасов, большой, громоздкий, большебородый, всегда очень хвалил меня за такую привычку заносить минутные впечатления в альбом. Часто, сам того не замечая, если нет под рукой карандаша и бумаги, я беру обгорелую спичку и рисую на папиросной коробке.

¹ На диспуте.

— Прав Илья Ефимович! Жизнь — поток! — горячо поддержал репинские слова Гиляровский. — Надо записывать все, что видишь и замечаешь. В этом одна из наших святых обязанностей. Но записываемое и запоминаемое надо обязательно тут же переплавлять на огне своего сердца. Без такой сердечной переплавки жизненные впечатления мертвы. Только огонь сердца дает закалку, превращает руду жизни в сталь, а клинками из этой стали можно защищаться, можно и нападать!

— Правы вы, Гиляй, тысячу раз правы! Наши впечатления и наблюдения, сделанные карандашом на манжете крахмальной рубашки, как это часто делаете вы, или на спичечной коробке кончиком обожженной спички, к чему иногда прибегаю я, становятся нужными и действенными только после переплавки на горниле сердца.

А все-таки иногда больно бывает, когда видишь или слышишь то, что мне пришлось наблюдать в зале Политехнического музея, — неожиданно закончил Илья Ефимович, и слеза вдруг скатилась по щеке художника.

Сотни, может, тысячи людей видели Репина смеющегося, возмущенного, гневно протестующего, радостного или огорченного, но, вероятно, немногие видели нежданные слезы на его лице. Это запомнилось на всю жизнь.

— Запомните, — сказал Гиляровский, когда художник, попросившись, ушел в «Большую Московскую», — вы видели слезы Репина — Репина, написавшего «Бурлаков», «Запорожцев», «Не ждали»; их знают и будут знать миллионы. Увидеть же великого художника, оскорбленного до слез людской глупостью, а может, просто неумным озорством, — это, пожалуй, суждено не каждому!

Действительно, только в обстановке необычайной простоты и душевности, которая была характерна для Столешников, возможно было раскрытие человеческих сердец.

Особым уважением и признанием в Столешниках пользовались такие художники, как Виктор Васнецов, Василий Суриков, Василий Поленов, Михаил Нестеров и Валентин Серов. Одни из них постоянно жили

в древней столице, другие бывали здесь наездами. Их приход в Столешники был всегда большой радостью, и Гиляровский заранее предупреждал об этом своих домашних.

Характеры, московские привязанности, своеобразие этих художников обращали на себя внимание.

В. И. Суриков — уроженец Сибири, свято соблюдавший свою сибирскую закваску, — почти оседло жил в Москве, в «Княжьем дворе».

В. М. Васнецов и В. Д. Поленов, с детства крепко пропитавшиеся ароматами северных русских областей, тоже были московскими жителями. Поленов жил у Кудринской площади, Васнецов — у Самотеки.

М. В. Нестеров, родившийся в семье уфимского старожила, прочно обосновался в одной из тихих улиц Замоскворечья.

Все они с гордостью подчеркивали, что они коренные москвичи по духу, чувствам и привязанности. Для них, как и для Гиляровского, Москва была неиссякаемым источником вдохновения.

Дружеские отношения между Гиляровским и Виктором Васнецовым возникли давно, еще в дни приезда в Москву выставок передвижников, в 80-е годы — годы расцвета деятельности мамонтовского кружка. Васнецов бывал в Столешниках, а Гиляровский — в доме-мастерской художника в 3-м Троицком переулке. Они много раз встречались в Историческом музее, когда Виктор Васнецов писал свои величественные настенные картины-фризы, а также на собраниях археологов в доме Уваровых в Леонтьевском переулке, на различных выставках. Почти обязательно посещал Васнецов Столешники, когда устраивал выставки своих произведений в Историческом музее.

Высокий, длинный, сухопарый, светловолосый, ходивший в стариковском сюртуке старинного покроя, с длинной бородой, с глазами, внимательно смотревшими на собеседника, Васнецов казался старомодным. Но это впечатление мгновенно рассеивалось при первых словах художника. Васнецов ясно сознавал свое положение художника-мастера, понимал, что он работает для искусства XX века, великолепно разбирался во всем, что волновало сегодняшней день.

— Мы старики, нам надо больше молчать, чем разговаривать, — так часто начинал разговор Виктор Васнецов.

Но в большинстве случаев разговор быстро переходил на современность, где острый и проникновенный ум художника умел поразительно верно отделить важное от второстепенного, даровитое от бездарного и ненужного. Оценки Васнецова обычно были очень острые и глубокие.

— Импрессионизм — вещь далеко не плохая и нам, художникам, много давшая. Это, однако, не мешает нам, русским, увлекаться тем, что сохраняет наша старая икона с ее удивительной красочной гармонией, удачными размещениями человеческих фигур на плоскости, их взаимным соединением.

— В «Аленушке», — сказал как-то Васнецов, когда возник разговор о его произведениях, — мне хотелось показать не то, как одинокая девушка, сидя на горюч-камне, кличет своего братца и прислушивается к шелесту тростника, а то, как тянется к теплу человеческого сердце.

«Богатыри», по замыслу моему, должны волновать не только могучестью фигур, не только широтой родных просторов. Главное в них — и мне хотелось, чтобы это понял зритель, — неукротимость их русского сердца, всегда умеющего откликаться на радости, заботы и тревоги ближних.

Старики, бредущие в студеной зимний день по Неве с квартиры на квартиру, точнее, из одной холодной комнаты в другую, тревожили меня своей предельной одиночеством.

Интересны, своеобразны по восприятию были рассказы Виктора Васнецова о виденном и в Третьяковской галерее, где он любил бывать. По пути обратно он иногда заглядывал в Столешники. Сидя за столом и медленно помешивая в стакане чай, Виктор Михайлович рассказывал о том, что остановило его внимание, что запомнилось, вызвало воспоминания. Обычно в васнецовских беседах все увязывалось с непосредственными впечатлениями и переживаниями художника.

Виктор Михайлович, как и все Васнецовы, был очень бережлив, даже скуп на слова. Только иногда

находили на него минуты вдохновения, и тогда совершенно неожиданно фантазия художника воспроизводила вслух «двор и роскошь Иоанна»; с волнением рассказывал он об удивительных вечерах в доме Мамонтова на Садовой-Спасской, где блистал искрометностью мысли и вкуса «Савва Великолепный», вспоминал о страстности Крамского, о его рассудительности и прозорливости в дни организации выставок передвижников, о спорах, сомнениях и надеждах в связи с выставкой Союза русских художников. Зайдя к Гиляровскому с выставки картин В. Э. Борисова-Мусатова на Кузнецком мосту, Виктор Михайлович серьезно сказал:

— Мусатов ходит в декадентах, его хвалят «Весь». Много у него не вполне понятно, но какая чуткая душа у этого удивительнейшего по живописности и мягкости художника! Удивительная! — несколько раз повторил Васнецов. — Без души и сердца ныне не может быть художника. А у Мусатова есть и то и другое.

При всей своей сдержанности, внешней замкнутости и скрытности, Васнецов был более теплым, более отзывчивым и душевным, чем многие его сверстники по возрасту и таланту.

Простотой обращения, общей внутренней демократичностью отличались В. И. Суриков и М. В. Нестеров. Они редко показывались в Столешниках, в особенности Суриков. Помню, он приходил сюда в связи с какими-то интересовавшими его вопросами о Степане Разине. Нестеров заходил к Гиляровскому, чтобы поговорить о московских старообрядцах, бытом которых интересовался художник и жизнь которых была во многих подробностях известна писателю. Посещения этих художников оставляли впечатление мимолетности. Они запросто держали себя, запросто беседовали, высказывались по поводу отдельных моментов художественной жизни.

Несколько по-иному держал себя В. Д. Polenov. Видимо, тут сказывались воспитание и обстановка детства и юности, отличные от тех, в которых росли Суриков и Васнецов, не говоря уже о Репине. Polenov был или казался более спокойным, рассудительным, даже величественным. Он всегда с подчеркнутым уважением отзывался о своих друзьях по искусству.

Несколько особняком, как и во всей своей жизни и деятельности, держался Валентин Александрович Серов. Этот великолепный живописец, человек большой внутренней наполненности, баловень московских меценатов, любимейший ученик И. Е. Репина и друг И. С. Остроухова, заходил в Столешники по пути домой, в Ваганьковский переулок. Был он неразговорчивым, внешне угрюмым и молчаливым. Из московских молчаливков Серов был, пожалуй, наиболее примечательным. Как-то по Москве, всегда жадно ловившей и смаковавшей всякого рода слухи, пронеслось, что на очередном заседании общества «Свободная эстетика» Серов не произнес ни одного слова — только молча протягивал руку знакомым и не вынимал изо рта папиросу. В Столешниках Серов также был верен себе и нарушал молчание только тогда, когда встречал кого-нибудь из петербургских знакомых. Петербург по-особому притягивал Серова к себе, поскольку в нем жили и творили такие интереснейшие живописцы и люди, как А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, Б. Н. Кустодиев, В. Н. Добужинский, С. П. Дягилев. Рассказы о них Серов всегда слушал с огромным интересом, иногда даже оживлялся и клал недокуренную папиросу на пепельницу.

Серов с напряженным вниманием следил за современной ему живописью. Он был ученик Репина и годился в ученики Васнецову, Сурикову и Поленову. Но по силе и крепости своего таланта, по выразительности кисти, по мощи того, что он делал в искусстве, Серов стоял вровень с этими гигантами русской живописи, был в числе вожаков того нового, что рождалось в живописи.

— Силища! — говорил о Валентине Серове Гиляровский. — Кряжист и зорок, как старый многоопытный богатырь, высматривающий ворогов на сторожевых границах родного искусства.

Эти кряжистые дубы, глубоко ушедшие в землю корнями своих великолепных дарований, были постоянно окружены молодежью, которая начала вливаться в русскую живопись в первые годы нового века.

После каждой ученической выставки в доме Гиляровского появлялись новые молодые художники. Некоторых из них Гиляровский тщательно и заботливо

поощрял, с другими много спорил и серьезно возмущался тем, что они создавали. Неизменен в своих привязанностях Гиляровский был только к тем, в ком видел признаки несомненного дарования. Таких он искренне любил, таким, насколько это было в его силах, до конца жизни помогал. Он никогда не соглашался с ними, если замечал в их произведениях какое-либо отступление от великих основ и традиций реалистического искусства, от заветов его величайших мастеров.

Молодежь заходила в Столешники, чтобы послушать старого писателя, знавшего лично художников, о которых она только слыхала, чтобы узнать его мнение. Гиляровский внимательно выслушивал ораторов, любивших скрещивать словесные мечи, одних убеждал, другим возражал, но неизменно говорил:

— Молодежь во все времена стремится делать все по-своему, без оглядки на вчерашний день. Это, видимо, одно из явлений жизненного процесса, особенно явственного в наше время. Делайте по-своему. Только не забывайте ни на минуту, что до вас работали, творили Репин, Суриков, Васнецов, Левитан, многие прекрасные реалисты из Союза русских художников.

Забывать этих великих людей нашего искусства нельзя. Не подражать им, конечно, но помнить об их делах в искусстве! Это долг всякого настоящего художника.